

Любовь АРБАЧАКОВА

МОЁ НЕЗАБЫВАЕМОЕ ДЕТСТВО

Я родилась и выросла в деревне Анзасс (Онзес) из пяти домов, где мы жили без электричества и других благ цивилизации. Однако любовались белоснежно-ослепительной зимой, весенними полянами, с разноцветьем и пением птиц, тёплым летом с ароматами лесных трав, золотой осенью со спелыми ягодами черёмухи, рябины. Мы росли среди скромных и работающих людей, которые научили меня трудолюбию...

Анзасс, окружённый высокими горами-защитниками, представлялся мне вечным домом, храмом, космосом. Но, увы, ныне Анзасса нет, да и Чилиссу-Анзасс (районный центр) уже умирает. А тогда он мне казался огромным – с сельсоветом, магазинами, школой-интернатом, клубом, а главное, с электричеством, пусть оно и подавалось лишь в вечерние часы.

За годы наше семейство разрослось: четыре брата и три сестры. Я родилась четвёртой (средней): у меня было два старших брата и два младших; одна старшая сестра и младшая. Перед самым младшим из нас с Сергеем появился восьмой ребёнок – Оля, к несчастью, умершая, кажется от простуды, в три месяца... Сегодня нас осталось трое: брат, я и сестра Октябрина.

По воспоминаниям мамы, перед моим рождением она видела во сне красивые платки с цветочными узорами и предрекла мне богатую жизнь. Сейчас мне кажется, то красочное сновидение означало моё будущее художника. Возможно, я ошибаюсь... Она о каждом из нас перед родами видела сны, по которым пыталась предсказать нашу судьбу.

Мама рассказывала, что на рассвете 1 мая папа принял меня, а потом пошёл в стайку, где нашёл новорождённого жеребёнка, мы с ним появились на свет одновременно. К сожалению, жизнь его оказалась много короче моей.

Но с другой лошастью, по кличке *Красотка*, я вместе выросла: пока родители косили сено, я на ней сидела, а она щипала траву, с ней мы возили сено копнами, дрова. На ней я не раз ездила в Чи-

лиссинский магазин, а в конце августа провозжала то брата, то сестру до Кичей, чтобы они могли дальше по грунтовой дороге добраться до города Таштагола. Если везло, то путников подбирала попутная машина, а иногда приходилось идти пешком.

Лошадь – умное животное, я свою Красотку считала подругой: разговаривала, пела песни, угощала солью... Летом животные вольно паслись, кони изредка появлялись в деревне – становилось празднично! Мы, дети, выходили на улицу и любовались ими. Они были разномастными: наша – гнедая с белой звёздочкой на лбу, у соседа Николая – вороной, у другого – серая в яблоках, у третьего – светло-рыжей масти...

Я родилась в старом доме, а к рождению брата Юры, появившегося через два года после меня, построили новый дом. Вот в нём мы и выросли. Он был, по моему восприятию, самым большим и красивым из всех домов! Ведь в то время в нашей деревне окон с голубыми наличниками и шиферной крышей не существовало! Видно, папа, часто посещавший Таштагол, строил его на городской манер.

Двухкомнатный дом был обставлен современными предметами быта: в первой комнате висели большие часы, был и буфет ручной работы. Ещё мне запомнился великолепный петух, ярко вышитый мамой нитками мулине. Здесь же рядом с печью стояла железная кровать, где мы спали по три-четыре человека. Во второй – стояли диван, этажерка, сделанная руками отца, зеркало, круглый стол. В дальнем углу была кровать родителей, а напротив неё – *наа* койка (новая кровать), в которой никто не спал, так как там хранилось наше приданое – аккуратно сложенные ватные, шерстяные, стёганные одеяла. Иногда мама показывала нам уголок какого-нибудь из них и говорила, кому оно предназначено. Обычно до меня очередь не доходила! Я с её мнением не была согласна, так как в её отсутствие давно уже выбрала себе самое красивое и мягкое, из верблюжьей шерсти, одеяло, обещанное старшему – Борису.

Ещё вспоминается волшебный сундук, он всегда держался на замке. Изредка, в отсутствие папы, мама открывала и показывала нам его содержимое: документы, деньги, а самое интересное для меня – разноцветные платки, ткани, красивые платья, юбки, бусы... Сундук для нас – табу! Его самостоятельно не открывали, да и ключей мы никогда не видели, они где-то надёжно прятались.

В нашем доме имелось ещё одно запретное для нас помещение – кладовка! Там держали не только продукты: мясо сушёное, талкан, мешки с сахаром, мукой, ящики с лапшой – там находилось дедовское охотничье снаряжение: ружьё, лыжи, подбитые мехом, кожаная обувь (*ёдүйк*), самодельные сумки для пороха и пуль, ножны, а также кресало и огниво.

113

Нам было безумно интересно всё это потрогать, в обуви лежала мягкая сухая трава *озалят*, я любила её оттуда вытаскивать. Хотя я и не увидела дедушку и бабушку, папиных родителей, они умерли задолго до моего появления – где-то в середине пятидесятих годов, но через эти вещи чувствовала какую-то связь с ними.

Дед по материнской линии не вернулся с войны, а бабушки не стало в начале семидесятых. Я её помню, хотя она практически не принимала никакого участия в нашем воспитании, так как жила примерно в 14 километрах от нашей деревни.

Наш дом был ещё интересен чердаком: летом старшие дети там спали, а маленькие не допускались. Зато мы отрывались по полной в отсутствие взрослых: бегали по чердаку, играли в прятки. Как помню, у основания трубы стояли женские и мужские фигурки, размером около 15 сантиметров, сшитые из холста, глаза были из чёрного бисера. Потемневшая от времени и жирного угощения ткань на куклах выглядела непривлекательно, всё же однажды они исчезли оттуда. Позже я узнала, что это были хранители домашнего очага, защищали его от потусторонних, опасных сил.

Во время наш дом славился ещё одной диковинкой – радио. Иногда под русские народные песни, под голос Людмилы Зыкиной, звучавший из того радиочуда, я засыпала и просыпалась. Они производили на меня необъяснимое воздействие, я долго лежала, наслаждаясь этими прекрасными песнями.

Мама была неграмотной многодетной домохозяйкой, она с трудом расписывалась при получении детского пособия. Папа тоже имел лишь начальное образование, однако был энергичным, работающим, но, увы, безработным. Когда в деревне Белка, что находилась в пяти километрах от нашей, появлялись геологи, он устраивался разнорабочим в их геологоразведочную партию на временную работу. Тогда ему приходилось ежедневно бегать по утрам в эту деревню, а после работы возвращаться вечером.

Так он работал, может быть, месяца два-три, а в остальное время мы жили на то, что могли добыть собственным тяжёлым трудом. Семья была большая, поэтому мы держали и большое хозяйство: одну-две лошади, жеребят, три-четыре коровы, телят, овец, иногда у нас водились поросята, куры. По воспоминаниям сестры Октябрины, кур всех перебили после того, как они стали нестись мелкими яйцами, а это считалось плохим знаком.

Таким образом, чтобы всем пропитаться, нам приходилось много работать летом. В двух километрах от дома сеяли ячмень, из которого готовили вкусный талкан. Им лакомились в тяжёлое сенокосное время. Покос длился месяц или полтора: с кон-

ца июня до начала августа. В свободное от покоса время носили воду из речки, доили коров, кормили телят, в общем, домашней работы – уйма!

В конце августа по сентябрь мы били шишки в родовых угодьях, доставшихся нам по наследству от деда. В стане папа выбирал самый раскидистый кедр, под которым мы устраивались на ночлег. Постелью нам служили еловые лапы и папоротник, а рядом было место, куда высыпали собранные шишки. Папа и мои братья ухаживали сбивать шишки, а мы с мамой шелушили их вручную при помощи двух ребристых досок (*паспак, паспак палазы*), а затем провеивали, домой увозили «грязный» орех, который ещё раз обязательно перекидывали длинной лопаткой-курчек, чтобы он стал «чистым»... Тяжёлый и опасный (один наш дальний родственник погиб, упав с высокой кедром) труд.

Орехи папа иногда отвозил в город и продавал, а чаще за копейки сдавал в Чилиссинский магазин, где хозяйничали бывалые приёмщики. Иногда он охотился, дома всегда имелось несколько шкурок норки и белок. На вырученные деньги покупалась одежда, необходимая для холодной зимы: фуфайки, валенки, мужские шапки или тёплые платки, рукавицы и носки вязала мама из овечьей шерсти.

Весной мы готовили дрова на зиму: пилили двухручной пилой, кололи, а затем складывали в поленицы. Эти дрова летом не трогали, для топлива в летней кухне-одаг использовался хворост. В избе в месте очага стоял треножник, на котором в чугунках варилась еда, а в казане мы жарили ячмень.

За хворостом ходили в лес по несколько человек: там собрав сушняк, перевязывали его верёвкой и, с трудом подняв, несли его на спине домой. До сих пор остались неприятные чувства от сухих колючих ветвей, которые впивались в спину.

Однажды мы с сестрой стали виновниками пожара в одаге: папа с мамой ушли на покос, в летней кухне оставили вялить мясо. Нам наказали поддерживать небольшой огонёк. Стояла жаркая погода, мы набросали в костёр побольше дров и убежали на речку искупаться. Видимо, увлеклись, а когда шли назад, увидели большой пожар, шум и крики деревенских! Люди бегали за водой на речку и тушили пылающую избушку. К удивлению, им удалось погасить огромное пламя, не дав избе сгореть дотла! Она, пока не развалилась, так и простояла обугленная...

Ох и досталось нам в тот день от папы! Вся моя спина была исполосована тонкими сырыми ивовыми прутьями. Я тогда долго лежала, уткнувшись в колени мамы, и рыдала, а она гладила меня по голове и тихо плакала.

После сенокоса нас иногда отпускали на речку Пызасс, протекающую в четырёх километрах от нашей деревни, крупнее и теплее нашего Анзасса,

там можно половить вилкой мелких рыбок: ленивых широкоголовков (подкаменщиков), а если везло – шустрых усачей. От всего этого мы были на седьмом небе, от души накупавшись, к вечеру с полным бидоном рыбёшек возвращались домой уставшие, но счастливые. Мама радовалась нашей добыче и, почистив рыбок, либо жарила, либо варила суп-тутпаш. Лапша готовилась из теста в виде мелких галушек. Папа не любил мелкую рыбу, презрительно говорил: «Эта еда для бедняков!» Ему не нравился и суп из молочных продуктов (молока, простокваши), он признавал супы и другие блюда исключительно из домашнего мяса или дичи.

Вообще папа был непростым человеком: с одной стороны, жестокий, а с другой – добрым. В отличие от мамы, вовсе неграмотной, он получил два класса образования и умел читать. В нашем сундуке хранилась гомеровская книга об Одиссее и его приключениях как семейная реликвия. Оказывается, он прочитал её маме, и они приняли всё это за чистую монету. Ведь эта была единственная книга, которую они прочитали за всю жизнь! Выпив, папа любил говорить про себя: «Мен (я) китроумный Адиссей!». Ещё он где-то нахватался немецких слов и в состоянии опьянения щеголял: «Апидерзейн, коден таг!». Немецкое «гутен таг» он произносил по-шорски, где слово «гутен» превратилось в «коден» (задница), смешно!

В первой комнате висел папин пиджак, а в кармане лежали записная книжка (там он вёл письменный учёт деньгам, вырученным от продажи орехов, масла), ручка, носовой платок и зеркальце! Он себя любил: вручную выщипывал себе бородёнку, усы, а когда стали появляться седые волосы, то и их заодно нещадно выдёргивал.

Однажды, когда брат Борис уехал учиться в политехнический институт, он написал ему единственное письмо. Оно до сих пор хранится у брата. Письмо писалось красивым, витиеватым почерком, высоким стилем, где он к своему сыну обращается только на «Вы». Начиналось оно так: «Здравствуйте, уважаемый Борис Никитович! Пишет Вам Ваш отец Тудегешев Никита Васильевич!».

Это обращение выглядело нелепо, ведь в жизни он нас всех шпынял, считал недоумками, лентяями, ни к чему не приспособленными людьми и обязательно всех наделял прозвищами: меня называл Казак. В детстве я была рыжеволосой, конопатой (с моей рыжей косичкой мы играли с сестрой). Когда папа меня так называл, мама всегда в сторонке плакала, ведь он грубо намекал на то, что я родилась от русского, что она меня с кем-то нагуляла. Страшным ревнивцем был – о нём все в округе знали, жалели нас, маму, но побаивались его. А я плакала и обижалась на прозвище, потому что мне не хотелось быть белой вороной.

Мама, несмотря на свою тяжёлую, унижительную жизнь, была весёлой, работающей, но очень зауганной, забитой, всегда с синяками... Мама рассказывала, что папа её украл, когда ей исполнилось шестнадцать лет. Она иногда вспоминала своё трудное детство: они с младшей сестрой (тётей Катей) росли без отца, часто оставались голодными, холодными. Зимой за неимением тёплой одежды они куда не выходили. У мамы было одно платье, сшитое из мешковины. В то военное и послевоенное время многим жилось нелегко.

Моя мама хоть и была неграмотной, но была глубоко верующим человеком. Пасху ждали и встречали как самый большой праздник, к которому мама тщательно готовилась: прибиралась в доме, белила печку, стирала занавески, пекла булочки. Это был единственный день в году, который воспринимался мамой и нами как праздник. В нашей семье, да и у любого в деревне, не отмечались дни рождения и все другие праздники. Она учила нас православным молитвам, но с шорским акцентом, и нам, не знающим хорошо русский язык, трудно было понять и запомнить их.

Мама умерла рано, в 43 года, а мне она казалась старушкой: вечно в одном и том же изношенном платье, в старом платке, никогда не сидящей без дела. Да и с нами было много хлопот.

С детства у меня остались приятные воспоминания об одной колоритной шаманке-соседке. Она по просьбе отца иногда приходила к нам для проведения обряда или просто посидеть. Шаманка курила из самодельной трубки. До сих пор запах махорки, табачный дым ассоциируются с этой бабушкой, так как папа не курил, а этот специфический аромат был для меня необычным.

Одевалась она не как все: платье на ней было национальное, зелёное, длинное, с геометрическим орнаментом по низу, а на шее – много-много разноцветных бус из мелкого и крупного бисера. Ещё я помню её длинные серёжки, ручной работы: с мелкими бусинами и монетами. Она садилась, набивала трубку и, попыхивая ею, общалась с родителями. Если шаманка начинала камлать, то нас выпроваживали из дома, так как мы начинали смеяться, баловаться и, видимо, мешали проводить обряд.

Вдруг по деревне прошёл слух, что эта шаманка ушла в лес и не вернулась. Около недели её сын, опытный охотник, и все другие мужчины искали её в тайге. Но, увы, нашлись только её сапоги, аккуратно поставленные, а она сама исчезла. По-видимому, как коты или собаки, почуявшие близкую смерть, уходят из дома, так и эта бабушка-шаманка ушла умирать в тайгу.

Мы все учились в Чилиссу-Анзасской восьмилетней школе-интернате № 32. Уходили на неделю, жили в интернате, а в субботу возвращались домой,

175

в воскресенье шли назад в школу. Родители никогда не провозжали, иногда, если приезжали за продуктами, то забирали нас. Когда мы уходили в школу, мама не прощалась с нами, не целовала, выходила следом и, стоя у ворот, утирала слёзы. Так продолжалось все восемь лет.

Несколько слов об интернате: для проживания школьников из других сёл напротив школы стояло здание для девочек, через дорогу – для мальчиков, а столовая была расположена между ними.

Позже мы узнали, что в военное время наше девичье помещение служило больницей для больных сифилисом. В нём было более десяти комнат, в коридоре стоял бак с водой, имелась умывальная комната, а туалет располагался отдельно, на горе. В комнатах мы жили по три-четыре человека, печь топилась только зимой. Старшие к 1 сентября приходили пораньше, чтобы занять комнату получше. Дежурные убирали помещения по очереди: вытирали пыль и мыли пол холодной водой из речки. По утрам самые достойные из учеников проверяли, насколько аккуратно были заправлены наши постели. Порядок и чистота оценивались по пятибалльной шкале. Вечером приходили учителя-воспитатели и с трущодой укладывали нас в постель: нам хотелось ещё побегать на улице, пообщаться с одноклассниками.

В первый раз меня собирали в школу с большим скандалом: сестра Октябрина решила выбить из меня слово «нана» (видимо, от «няня»), она хотела, чтобы я обращалась к ней только по имени. Но оно так трудно выговаривалось! Мне пришлось повторять его по десять раз, я плакала-рыдала! Но, в конце концов, научилась произносить ненавистное слово, и меня старшие взяли с собой в школу.

В первом классе я была на равных со всеми: так же, как и я, никто не говорил по-русски, за исключением белокурого, голубоглазого мальчика Бориса – сына учительницы. Позже, когда мы освоились, все по очереди могли прикоснуться к его кучерявым светлым волосам.

Когда мы пришли на первый урок, то все сидели тихо. Лишь один мальчик нас удивил: когда его завели в класс, он так вырывался и дико кричал! Это продолжалось около месяца. Старшая сестра его приводила, садилась с ним рядом, а он продолжал вырываться. Иногда ему всё же удавалось сбежать в свою деревню, она находилась недалеко, всего в четырёх километрах. Но его приводили назад.

Мне нравилось быть среди своих одноклассников. Вспоминаю букварь... Когда я открыла его в первый раз, испугалась, увидев на обороте обложки лысого человека (позже выяснилось, что это вождь Ленин), быстро закрыла книгу. Перелистывая страницы, я находила красивые рисунки с детьми, животными, игрушками, цветами и любовалась ими.

В первое время я не хотела жить в интернате и учиться. Всё мне казалось чуждым и непонятным. В школе нам запрещали говорить на родном языке, видимо, для того, чтобы мы хорошо усвоили русский язык. Мы не понимали, зачем нас принимают в октябрюта – никто нам этого не объяснял.

Однако через некоторое время все втянулись в школьный процесс, нам даже стало нравиться чем-то похвастаться друг перед другом. Тогда и до наших ушей дошли вести о коммунизме. Мне особенно запомнилось то, что при коммунизме все будет жить хорошо, а главное, можно будет прийти в любой магазин и взять всё, что пожелаешь. Это стало пределом моей мечты: я ходила в местную лавку и высматривала себе вещи. Думала: «Скорей бы коммунизм построили!» А в реальной жизни мне приходилось иногда собирать пустые бутылки из-под алкоголя, а затем в магазине приставать к взрослым, чтобы они сдали их, отдав мне честно заработанные 20 копеек.

Если удавалось прокрутить эту аферу, то наступал рай: мы с подружкой покупали сгущённое молоко, находили гвоздь, дырявили банку и высасывали из неё содержимое. Это всё мы проделывали не на людях, а на полянке, подальше от вечно голодных сверстников. Строгая, аккуратная, опрятно одетая продавщица тётя Рая никогда не принимала от детворы бутылки, ругала нас, если видела, что мы долго околачиваемся в магазине, иногда выпроваживала за дверь. Мы знали, что она добрая, уважали её и никогда не видели пьяной. Для меня стало шоком сообщение, что она по пьянке, крепко поругавшись с мужем, отравилась. Мне-то казалось, что у них в семье всё в порядке.

Прошу прощения, я отошла от темы. В картинках букваря мне особенно нравились красивые девочки в цветных платьях и туфельках. У нас-то из обуви имелись только зимние валенки и кирзовые или резиновые чёрные сапоги, демисезонной и летней обувью нас не баловали. Летом бегали босиком, хо-рошо, если не наступали на стёкла!

Мне стало интересно находиться в школе, играть с ровесницами. У меня была подружка Нэлла, которую я знала ещё до школы. Она приезжала из другой деревни к своему дяде. Красавица Нэлла росла смелой, боевой, и её постоянно задирали мальчики. Она бойко вступала с ними в перепалку и даже дралась (к сожалению, она и умерла молодой, тоже в драке), а я стояла рядом и думала: «Заступиться, не заступиться?». Но всегда оказывалось, что моя помощь ей не нужна. Я была чуть мельче своей подруги и худее.

В один прекрасный день я поняла, почему меня не обижают! Как-то шпана в очередной раз стала её доставать, и кто-то заодно пнул меня, а другой закричал на него: «Ты чё, получишь от Стёпы!».

Всё было просто, у меня были братья-заступники, а с нею росли только младший брат и старшая сестра. Так что школьное детство моё прошло в кругу ровесников относительно спокойно, спасибо моим старшим братьям!

Но однажды мне всё-таки пришлось постоять за себя. Как правило, в интернате на обед нас зазывали по очереди: то младших (1–4-е классы), то взрослых (5–8-е классы). Приходили дежурные по столовой и громко кричали: «Малыши, кушать!». Или: «Взрослые, кушать!».

Так мы бежали в столовую, у дверей обязательно ещё несколько минут нужно было томиться. Наконец-то они открывались – и мы наперегонки бежали занимать себе место. Бывало так, что опоздавшим не доставалось чего-нибудь из вкусного. А это очень обидно!

Так вот, мы толпились у дверей, я оказалась первой, а рядом со мной – одноклассник Герман, вечно сопливый, молчун. И тут он стал меня грубо отталкивать, а я упиралась. Однако, когда он стал меня бить, деваться было некуда: я поняла, что этот нахал не боится моих братьев. Пришлось самой постоять за себя! Когда мы схватились с ним за гривки, все расступились. Я-то втайне желала, чтобы нас разняли, но никто и не думал делать этого! Бились до конца: он мне расцарапал лицо, я ему!

Я оказалась крепким орешком, меня не так-то просто было пихнуть или побить. Ведь у меня имелся семейный опыт драки с сестрой, братьями. Из меня очень трудно было выбить слезу, я первая дождалась его слёз, а затем сама (на всякий случай, чтобы мне не досталось от кого-нибудь из старших) стала лить слёзы. В тот момент я почувствовала гордость за себя.

Другой эпизод, случившийся в детстве, познакомил меня с неизвестным чувством если не предательства, то отчаяния. Однажды в морозный день мы с подружкой поехали верхом на моей любимой Красотке домой. Не помню, почему лошадь оказалась в Чилиссе, а мне наказали непременно доставить её домой. Вдруг через четыре-пять километров лошадь оступилась и провалилась в глубокий снег. Мы соскочили, и я стала дёргать её за узду. Дёргала-дёргала – не поднимается, лежит в сугробе по грудь, а к вечеру мороз стал крепчать. Мы с Нэллой пытались поднять Красотку, а потом заплакали, так как не знали, что делать дальше. Рядом ни души, до нашей деревни еще километров шесть-семь, мы страшно замёрзли. Я знала, что коня нельзя оставлять, а подружка поплакала-поплакала да и сбежала назад в Чилиссу, несмотря на моё бедственное положение. Оставшись наедине со своей бедой, я восприняла это как предательство близкого человека.

Оказавшись наедине с лошадью, я взяла большую хворостину и стала бить ею Красотку по спине (до сих пор сожалею о том, что мне пришлось применить силу к моей любимице, но это было сделано ради наших жизней). И о чудо! Она вырвалась из обледеневшего снега, который начинал уже её сковывать! Я села на коня и доехала до дома. Это была моя маленькая победа! Но горечь от поступка моей подружки, бросившей меня в трудную минуту, осталась навсегда, хотя я и словом не упрекнула свою Нэллу.

Надо отметить, что наш класс успеваемостью не отличался: были только троечники и двоечники. Меня часто ругали учителя, ставя в пример то сестру, то брата – хорошистов. Я не обижалась, с меня как с гуся вода! На то время почти всё устраивало меня: прекрасная природа, одноклассники, с которыми по вечерам бегали в сельский клуб на танцы: там крутили пластинки, а мы, «детский сад», энергично пританцовывали.

Единственное, с чем я не смогла смириться, что отец бил маму. Это самое горькое в моей жизни, об этом до сих пор не могу писать без слёз...

Каждый учебный день начинался с проверки домашнего задания. Нас вызывали к доске либо мы с места отвечали на вопросы, заданные на дом. А вызывать и спрашивать-то некого: класс наш состоял из молчунов. Учителя читали нам нотации, но куда деваться – объясняли новую тему! И так продолжалось изо дня в день. Хотя нет, иногда кто-нибудь хоть что-то и говорил...

Мы все боялись завуча школы Зои Куприяновны. Она была грубоватой, сварливой учительницей по химии. Если она замечала, что в классе кто-нибудь чем-то выделялся, как, например, повзрослевшая Лиза, которая в классе седьмом-восьмом любила «закручивать волосы» (девочки завивали волосы раскалённым гвоздём либо делали папильотки из лоскутка ткани и бумаги). Зоя Куприяновна, заметив это, тут же вызывала её к доске. За отказ она непременно ехидничала: «Волосы-то не забыла накрутить, а уроки не выучила». Завуча боялись не только мы, но и все жители села – то и дело по посёлку раздавался её крик: она ругала взрослых за пьянство, разгильдяйство, за многое другое! Возможно, она была права, ведь ей хотелось, чтобы мы становились лучше, чище.

Наш молчаливый на уроках класс любил веселиться в свободное время: мы целыми днями готовы были играть в лапту, бегать по тротуарам села. После учёбы у нас была группа продлённого дня, где выполнялись домашние задания. Весной мы частенько сбежали с неё.

Однажды мы с девчонками убежали на полянку собирать весенние подснежники и кандыки, и вдруг нас догнала школьный воспитатель Лидия Михай-

177

ловна, дочь Зои Куприяновны. Мы её не любили, кто-то сказал, что у Лидии Михайловны нет учительского образования, её устроила по благу мать. Так вот эта Лидушка (подпольное прозвище) вместе с ребятами догнала нас, взяла чей-то ремень и стала по очереди всех ставить на пенёк и стегать. Девочки плакали, а я нет. Тогда из-за Лидушки выглянул Славик, на год старше меня, и пропищал: «Лидия Михайловна, а у неё юбка очень широкая, с крупными сборками, ей не больно! Вы поднимите ей юбку и ещё раз отстегайте».

Она прислушалась, и тут же снова меня подняли на позорный пьедестал, задрали юбку и ещё раз отстегали. Тогда я заплакала от обиды: ведь юбку задрали при всех, а под ней у меня были драные чулки с резинками. Будучи ещё маленькой, уже понимала, что меня страшно унизили.

Других учителей вспоминаю с большой теплотой, мне нравилось изучать их лица, любоваться ими! Прекрасные, умные, обаятельные...

Однажды, когда я была уже в классе седьмом, приехала к нам выпускница Кемеровского университета Нина Васильевна! Нам её представили на общей линейке и с гордостью сказали, что она окончила университет! Тогда я поняла, что это круче, чем институт, что-то сверхнеобычное. Она преподавала физику и математику.

Когда эта прекрасная учительница впервые вошла в наш класс на свой первый урок, то мы еле пришли в себя от ароматного запаха её духов (позже узнала, что мы вдыхали аромат «Красная Москва»), от стильного и строгого костюма, от огромных синих сглаз и пышных ресниц.

Я внимательно наблюдала за ней и заметила, что она, глядя на нас, часто-часто захлопала глазками и молча простояла несколько минут.

Видимо, не могла прийти в себя от нашего внешнего вида. Нина Васильевна продержалась в нашей деревне год, а потом приехал такой же красивый молодой человек в шляпе и увёз её! Было жаль. Она нам очень понравилась: никогда не повышала голоса, пыталась словами убедить нас учиться и говорила с нами как со взрослыми.

Как-то в восьмом классе мне поручили принять в пионеры октябрят, и я поняла, что недостойна этого, так как знала, что такого поручения удостоиваются лучшие ученики школы. Мне стало досадно, что в своё время не училась как следует. Тогда я

впервые разолилась на себя за пренебрежительное отношение к учёбе.

На следующий день после приёма октябрят в пионеры меня вызвала к доске Зоя Куприяновна и упрекнула за плохой ответ, сказав: «А ей ещё довели в пионеры принимать!». Я была посрамлена.

После восьмого класса нашу школу закрыли, все разошлись по своим домам. Летом этого же, 1979 года мы потеряли маму. Папа через месяц женился и вечно пропадал у своей новой жены. Я поняла, что детство моё закончилось.

Продолжила своё школьное образование в Спасской средней школе, через дорогу был интернат для детей из дальних сёл, где стали жить и мы. В этом же посёлке находился дом отца, иногда бегали к ним, но у его жены были свои дети, мы были лишними.

В новом окружении я решила подтянуться в учёбе и окончила десятилетку всего с одной тройкой. После школы по совету брата Бориса, который сказал: «Ты же родилась в тайге, поступай в лесной техникум!», я туда и поступила, училась на техника-лесоведа. Признаюсь, что, будучи школьницей, втайне я влюбилась в балет. В 9-м классе нашла справочник для поступающих и написала письмо со своими наивными вопросами на адрес Алма-Атинского балетного училища. Естественно, ответа не получила.

В техникуме я подружилась с девушкой Светланой из Барнаула. Она училась в художественной школе, занималась танцами. Однажды Света собрала из домашней утвари натюрморт и показала мне азы рисунка. Она же повела меня в танцевальный кружок.

Помимо тех увлечений, я записалась в кружок художника-оформителя, много общалась с руководителем этого кружка Элеонорой Петровной, профессиональным художником-графиком. Она показывала свои графические работы, я восхищалась её рисунками и мечтала научиться так же рисовать!

Уже после техникума я пыталась поступить то в художественное училище, то в институт – безуспешно! Но это уже отдельная история.

В биографии мне хотелось больше написать о своём детстве. О моей взрослой жизни вы узнаете из моих стихов и живописных работ.

г. Междуреченск

